



ДОЛГОЕ ЧАЕПИТИЕ

[СЕРГЕЙ БЕРДНИКОВ]

Издательство «Геликон Плюс»

Сергей Бердников

Долгое чаепитие

«Геликон Плюс»

2017

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Бердников С.

Долгое чаепитие / С. Бердников — «Геликон Плюс», 2017

ISBN 978-5-00098-121-4

Правдивая пронзительная повесть, посвященная военному детству – уникальное свидетельство очевидца о страшных блокадных днях, о тяготах эвакуации, о мужестве и долге. События тех страшных дней увиденны глазами мальчика, но поняты и осмыслены уже зрелым человеком. Автор рассказывает об обыденных вещах, но читателя не покидает чувство, что мировая история и культура – вот они, рядом, и каждый их контакт с миром блокадного ребенка и послевоенного подростка становится значительным, необыкновенным. Сдержанная, мудрая книга на границе мемуарной и художественной литературы.

УДК 84.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00098-121-4

© Бердников С., 2017
© Геликон Плюс, 2017

Содержание

1	6
2	12
3	18
4	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Сергей Бердников

Долгое чаепитие

Повесть

© Бердников С., текст, 2017

© «Геликон Плюс», макет, 2017

Я бы хотел, чтобы сказочный вымысел подчинился разуму и принял видимость настоящей истории. Если же кое где он со своевольным презрением отвернётся от правдоподобия и не пожелает даже приблизиться к нему, просим благосклонного читателя отнестись со снисхождением к этим рассказам о старине.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания.

*Посвящаю светлой памяти родителей:
моей мамы Евгении Владимировны Вейцман
и моего папы Леонида Николаевича Бердникова*

1

... Можно начать так. Две старушки сидят за столом друг против друга и пьют чай. Правдоподобно, но неправда. Старушки? Может быть, и нет. Женщины. Возможно. Пьют чай? Неизвестно. Сидят за столом. Друг против друга. На столе перед ними что-то стоит. Не видно – что. Очень далеко. Вполне возможно, что это действительно чайник и кружки. Может быть, чашки или стаканы.

... Вернее бы начать так. Двое сидят за столом. На столе что-то стоит. Надо ещё добавить: эти двое сидят в комнате на пятом этаже...

Сколько же добавляется и дорисовывается со временем. Удивительное устройство – человеческий мозг. Когда-то что-то увидел. Через много лет с изумлением: «Как же много запомнил! С какими деталями!» Ничего подобного. Запомнилась только какая-то одна поразившая деталь, мелочь, ситуация. Остальное – привычные, соответствующие этой запомнившейся детали декорации, звуки, ощущения и тому подобное – мозг добавляет, достраивает потом. Ему не надо помнить всё. Он пользуется готовыми блоками и делает запомнившуюся мелочь такой, какой она могла бы быть, привычной, в окружении привычных ощущений. Вставляет на «нужные» места «необходимые» детали, краски, звуки. Чтоб было как всегда. Чтоб то яркое, необыкновенное, страшное, что когда-то поразило мозг, затянулось банальностью и обыденностью. Чтоб не болело потом всю жизнь. А так, при случае: «Вот, помню...» И нарасказываешь, навспоминаешь, наговоришь со всеми подробностями, в красках, с запахами и звуками. Нет, не потому, что выдумщик такой, а так привычнее, спокойнее и себе и другим...

... Двое в комнате на пятом этаже сидят друг против друга за столом...

... Санки едут медленно и ритмично подёргиваются в такт маминым шагам. На санках лежит какой-то узелок. Прижатый к нему спиной, сидит мой брат, Володя. Я привязан к брату, брат к санкам. Володины ноги расставлены шире краёв санок, но тротуара они не касаются, потому что валенки не дают им согнуться. Между его расставленных ног сажу я. Всё это связано друг с другом и плотно привязано к санкам. Верёвка, за которую мама тянет санки, намотана на её руку. Наискось мамину фигуру пересекает ремень, на котором висит полевая сумка. Мама, полевая сумка, санки, узелок, брат и я – одно целое. Мы связаны, перетянуты, примотаны друг к другу. Мы покидаем Моховую, и всё хуже и хуже виден дом, в котором на пятом этаже двое в комнате сидят за столом друг против друга...

... Все засыпано снегом. Снег шёл, наверное, всю ночь. Снег скрипит под мамиными ногами, под полозьями санок. Из-за шапки и платка, которым я обвязан и привязан к санкам и к брату, плохо видно вокруг. Голову тоже не повернуть, да и не хочется. Снег. Всё засыпано снегом. По белым его буграм на углу Моховой и Белинского неторопливо двигаются тёмные фигуры. Вчера здесь был дом, мы с мамой и братом ходили сюда в булочную...

... Санки падают на бок... Мы с Володей и узелок за его спиной лежим одним увязанным пакетом. Теперь ничего не видно. Слышно, как медленно скрипят мамины шаги. Она ходит вокруг санок. Что-то делает. Санки снова становятся на полозья. Стоят как-то косо. В одну сторону немного видна Моховая, в другую – Белинского. Мама опять где-то сзади, над нами. Шапка на мне совсем съехала на глаза, но если скосить глаз, то видно засыпанный снегом трамвай и какого-то мужчину в шинели, который медленно, хромя, обходит телегу и подходит к лошади, лежащей на снегу. Дёргает за узду. Лошадь приподнимает голову и снова кладёт

её на снег. Мужчина поворачивается и медленно машет руками в сторону нескольких человек, стоящих вокруг с пилами и топорами... Тихо... Звука нет... Появляется лицо мамы. Она поправляет на мне шапку. Что-то брату. Затягивает платок. Поправляет ремень, на котором висит полевая сумка. Наматывает веревку от санок на руку. Мне опять видны люди, которые ходят по снежным буграм...

– Мам, почему они там ходят?

– Убитых вытаскивают...

– А там кто? – скосив глаза, я пытаюсь медленным движением головы показать туда, назад, в самый конец улицы, где двое, уже не видные мне, засыпанные снегом, сидят друг против друга за столом. Мама смотрит туда, куда я пытаюсь показать.

– Ах там? Они давно там. Чай пили... стена обвалилась... К ним не добраться... снегу много...

...Снег... Память зацепилась за снег. Дальше цепочка с узелками и ветвлениями от одного к другому. Цепь воспоминаний? Нет, не цепь – сеть. Все узелки связаны мостиками, снежными перемётами, застругами... Можно с одного узелка (бугорка? Бугра?) перейти, перешагнуть, перепрыгнуть на тот или этот, а потом дальше, и ещё дальше, и опять на этот или тот, и забудешь с какого начал...

...Конечно же, это удобно. Вроде приём такой. Всё связано со снегом. Посмотрел на сугроб – и вспомнил одно, посмотрел на снегопад за окном – и вспомнил другое, посмотрел, на позёмку и, глядишь, третье вспомнил... Удобно. Или наоборот – вспомнил что-то потому, что как раз тогда снега-то и не было...

...Мы покидаем Моховую...

...Вообще-то мы её уже один раз покидали. Только тогда-то как раз ещё снега не было. Было ранее утро, свежо, и хотелось спать. Я, постоянно зевая, мой брат и мама спустились по лестнице во двор. Дворник дядя Фёдор вынес наши чемоданы и положил их на двухколёсную тележку. Колёса были огромные, как у настоящей телеги, обитые металлической полосой. Ручка тележки, круглая, отполированная ладонями, лежала на каменных, слегка сыроватых от росы ступеньках крыльца, которые вели к нашей парадной, и поэтому дощатая площадка тележки, находящаяся над колёсами, располагалась горизонтально. Во дворе было пусто. Только около другой парадной лежал свёрнутый кольцами резиновый шланг. Дядя Фёдор положил на тележку оба наши чемодана. Тележка была большая, и наши чемоданы затерялись на ней. Потом он по очереди поднял меня и Володю и тоже посадил на тележку, на её задний край как-то выдохнув при этом: «Эх!» Цокнул языком, неодобрительно покачал головой и пошёл к ручке тележки. Ноги у нас свешивались. Тележка развернулась, и мы с братом снова увидели нашу парадную. Поехали. Мама взялась за край тележки и пошла рядом. Двор развернулся. Потом на время стало темно – мы въехали в подворотню. Снова стало светло, и тележка, трясясь и погрохатывая по булыжникам, покатила к улице Пестеля. Сидя на краю тележки, мы с братом тряслись, болтали ногами, переглядывались и смеялись. Мама шла сзади, держась за край тележки. Её фигуру наискось пересекал ремень, на котором у бедра висела полевая сумка. Когда пересекали улицу Пестеля, трясло меньше, сквозь щели дощатого настила тележки засинел диабаз, а потом колёса покатались мягко и тихо – вторая половина Моховой была вымощена деревянным торцом...

...Проснулся я оттого, что мама меня стаскивала с тележки. Володя уже стоял на земле, а дядя Фёдор, положив ручку тележки на гору каких-то мешков, снимал с неё наши чемоданы. Над нами возвышался красный вагон длинного товарного поезда. В квадратную черную дыру

его широко открытой двери лезли люди. У приставной лесенки стоял военный. Дядя Фёдор с нашими чемоданами и мама, держа нас с братом за руки, протиснулись к вагону. Мама перехватила мою и Володину руки в свою одну, а другой достала из полевой сумки какую-то бумагу и отдала военному. Военный был похож на нашего дядю Колю, папиного брата, – Коляну, как у нас дома его все называли, тоже военного. Когда Коляна последний раз приходил к нам, мы ещё жили на даче в Старожиловке...

...Было воскресенье, мы его ждали, но он задерживался, и мы с папой пошли его встречать по пыльной, залитой солнцем деревенской улице. Наконец он появился в конце её, увидев нас, замахал руками, потом подошёл, что-то много говорил, смеялся и мы пошли к дому. Уже около дома навстречу нам, загребая пыль ногами, шёл пьяный, увидев Коляну в форме, он уцепился одной рукой за рукав его гимнастёрки и стал что-то говорить, размазывая другой слезы по грязному лицу:

– Ты военный, военный, ты им покажи...

Коляна смеялся, что-то шутил в ответ. Мой брат стоял рядом с папой и держал его за руку, я сидел верхом на шее у Коляны, а к нам по тропинке во дворе от дома к калитке шла мама. Она не улыбалась. У неё были странные глаза. Они никуда не смотрели. Так, никуда не глядя, с лицом, повёрнутым к папе и Коляне, она открыла калитку, вышла навстречу нам. Папа улыбался, Коляна, освободившись от пьяного, раскрыл руки навстречу маме, а она, всё так же никуда не глядя, сняла меня с Коляниных плеч и сказала серым голосом:

– Война началась. По радио передали...

...Военный у вагона отдал маме бумажки, она снова их засунула в полевую сумку и, посаживая нас с братом по приставленной к вагону деревянной лесенке, стала подниматься в вагон, а дядя Фёдор поднял с земли наши чемоданы и поставил прямо в вагон на пол у самого края. Мама отпустила наши руки, отодвинула чемоданы по очереди к стенке вагона поближе к двери, снова взяла наши руки, посадила нас и сама села на чемоданы. Так мы и расположились: мама у самой двери, потом Володя, потом я. Мама держала Володю за руку, а Володя меня. Если брат наклонялся вперёд, то из-за мамы он немного мог видеть, что делалось на улице, за дверью. Мне уже ничего не было видно. В вагоне стало тесно, но всё ещё влезали и влезали новые, протаскивали узлы и чемоданы перед самым моим лицом. Из-за стенки вагона, с улицы, слышался голос дяди Фёдора:

– Вы подальше, подальше залезьте, здесь у двери-то плохо, детей простудите.

Мама посмотрела на нас с Володей провалившимся взглядом, отвела машинально рукой чей-то узел или чемодан от моего лица, покачала отрицательно головой и тихо пробормотала:

– Нет, нет, здесь у двери лучше, если что...

Дядя Фёдор, наверное, её уже не слышал...

Дверь с грохотом отодвинулась. Песчаный откос насыпи, зелёная трава, какие-то кусты... На насыпи военный размахивает руками, кричит:

– Все, все быстро из вагонов. Подальше бегите, ложитесь на землю, под кусты, подальше, самолёт немецкий...

Самолёт пролетел над самыми крышами вагонов, где-то за хвостом поезда развернулся, снова пролетел над вагонами, и всё стало тихо. Люди медленно вылезали из кустов, поднимались с земли, отряхивались, оглядывались. Снова появился военный, он снова бежал и снова кричал: «По вагонам, по вагонам! Быстро, быстро! Возвращаемся...» Поезд тронулся, мама села на чемоданы, держа нас за руки, локтем она прижимала полевую сумку и смотрела в щель неплотно закрытой двери. Сказала тихо, ни к кому не обращаясь:

– Назад поехали.

Володя спросил:

– Почему?

– Немцы Мгу взяли, ехать некуда...

Дяди Фёдора с тележкой не было. Обратно шли долго. Мама останавливалась, ставила на мостовую чемоданы, мы с братом садились на них, мама стояла. Так отдыхали недолго, потом мама поднимала нас, заставляла нас с братом взяться за ручки чемоданов, поправляла полевую сумку, брала чемоданы, и мы шли дальше. Когда уже шли по Моховой, впереди со стороны Пестеля из длинного чёрного репродуктора громко звучал военный марш, доносился железный грохот, а перекрёсток был затянут синим дымом. Мы подошли к перекрёстку, но перейти его не могли – по Пестеля друг за другом шли танки. Сквозь их грохот из репродукторов доносились звуки оркестра. Сизый дым, марш, скрежет танков – всё сливалось в одно. Мама, не разжимая чемоданных ручек, крепко захватила наши пальцы. Я поднял к ней лицо, хотел пожаловаться, что мне больно, но всё равно ничего не было слышно, а мама смотрела вперёд такими же глазами, как тогда около калитки в Старожиловке, как сегодня утром у дверей в вагоне. На той стороне Пестеля сквозь синий дым были видны какие-то дети, которые шли парами, держась за руки. Впереди, тревожно озираясь на них и на танки, шла женщина. Дети были маленькие, как я. Один шёл без пары, последним и беззвучно плакал. Наверное, он плакал не беззвучно, но из-за танков ничего не было слышно. У него были мокрые и грязные сзади штаны, а по чулкам в туфли стекала жёлтая каша. От дыма щипало глаза, танки всё шли и сворачивали на Литейный. Их грохот перемешивался с грохотом марша из репродуктора, который был прямо над нами. Мамин палец больно прижимал мою руку к ручке чемодана. Я стал плакать. Мама не видела...

...Всё как-то случайно... Тогда, когда я на углу Пестеля и Моховой под грохот танковых моторов и военный марш плакал, оттого что мама больно прижала пальцем мою ладонь к ручке чемодана, было ещё достаточно тепло и никакого снега не было. Только синий дым, который сносило ветром с Пестеля на Моховую...

За окнами метель. Из-за окон сквозь дребезжание на ветру жестяного подоконника доносится со стороны по соседству расположенного военного училища марш «Прощание Славянки». Мы вдвоём в комнате за столом сидим с Эммой и пьём чай. Дочка уже спит. Сына нет дома. Звонит телефон. Это Коляна. Он умеет говорить сразу обо всём.

– Ну как вы, холодно у вас?

– Нет, Коляна, не очень.

– Что делаете?

– Чай пьём.

– А-а... Ну я ненадолго тебя оторву, я просто так. Гуляли сегодня?

– Нет, как-то не вышло.

– Много у вас снега?

– Да, всё замело.

– У меня тоже. На балконе целый сугроб. Когда мы в Москве жили, кажется в 22-м году, тоже было много снега. У наших родителей друзья были Михалковы. Мы с их сыном Сергеем в казаки-разбойники играли и соревновались, кто дольше провисит на вытянутых руках, держась за прутья балконных перил на третьем этаже, а потом подтянется и снова влезет на балкон. Отца Сергея, Владимира Александровича, в ту зиму забрали и повели под конвоем на Лубянку. А у него на пальце было кольцо с бриллиантом. Он идёт и думает: «Жалко, отберут». Снял кольцо и на Сивцевом Вражке бросил в сугроб около каменной тумбы при въезде в какую-то подворотню. А через три дня его отпустили. Обратно уже без конвоя шёл. Проходя мимо той

подворотни, сунул руку в сугроб. Так, на всякий случай. А кольцо там... – Коляна смеётся и продолжает: – А я сегодня гулял, в Сосновке был. Хорошо там. Много снега. Я вспомнил, как на этапе, когда мы шли по Вычегде от Котласа до Усть-Выми, профессор математики Мазурмазов, показывая мне на снег по берегам Вычегды, говорил: – «Эти места напоминают мне прогулки по Шварцвальду...» – Коляна замолкает на секунду, потом, торопливо: – Я тебя от чая отрываю... – но тут же продолжает: – На весь этап была одна телега. На ней конвоиры что-то везли, и ехала «королева этапа» – немка Ульман, она везла в чемодане рукописи Боброва. Его Александром Сергеевичем звали, как Пушкина. Шёл рядом со мной, говорил, что он литературовед, а в чемодане его рукописи, которые ему разрешили взять, там документы о Есенине и Блоке. Ульман эти рукописи до Печлага не довезла. Урки украли и раскурили. Бобров с ума сошёл. Его конвой застрелил, когда он из колонны выбежал, чтобы поймать один из своих листков, который вдоль колонны несло ветром по снегу... – Коляна спохватывается: – Ой, у тебя чай остыл... – начинает прощаться, торопливо ещё успеваешь рассказать о том, как пилил одной пилой брёвна на лесоповале с поэтом Яшиным, и вешает трубку...

Всё-таки снег, снег всё объединяет. Своими сугробами, своим кружением. Он всё тот же и сейчас, в конце 90-х. И тогда, в 35-м, на этапе Котлас – Усть-Вымь. И в Москве в 22-м на Сивцевом Вражке, и в 20-м на Мало-Николо-Песковском у Собачьей Площадки, когда мой дед, кутаясь в поднятый воротник, сквозь скрип собственных шагов услышал и почувствовал тёплый тяжёлый вздох около самого своего уха. И сквозь слепящий снег увидел чёрную с белой звёздочкой на лбу морду лошади, которая, втягивая носом запах его поношенной шубы, шла за ним, таща в санях заснувшего извозчика. Дед узнал – это был коренной из их тройки орловских рысаков с их конного завода. В 13-м тройку мобилизовали. И вот конь узнал хозяина в занесённом снегом московском переулке. Дед остановился, назвал его по имени. Конь потянул шею, положил морду на его плечо и замер. Снег. Снег продолжал идти, заносил сани, спящего извозчика, старого понурого коня и тёмную фигуру человека, прильнувшего к нему...

...в 41-м, на углу Моховой и Белинского, мама выровняла наконец санки с узелком вещей, братом и мной. Поправила на плече полевую сумку с документами и хлебными карточками. Санки двинулись дальше, в сторону Волковой деревни, в детскую соматическую больницу, куда ей удалось устроиться работать санитаркой. Скрипел снег под её шагами, смотреть было некуда. Снег слепил, от этого в глазах становилось темно, плыли радужные круги, вялое, безразличное тепло разливалось по телу...

...Где-то далеко позади в угловом доме на пятом этаже двое, занесённые снегом, продолжали сидеть друг против друга за столом...

...Мы покидали Моховую...



Мама – Евгения Владимировна Вейцман

2

Уже было совсем темно, когда мы вышли из института на Малую Посадскую. Пройдя мимо тёмной громады мечети, дошли до Кировского. Ветер совсем обезумел. Мокрый снег лепил со всех сторон. Мишка Середенко, морщась и пытаясь увернуться от ветра, произнёс:

– В Петербурге ветер дует сразу со всех сторон. Это ещё Тынянов заметил.

– Да, да, а до него ещё Гоголь об этом написал, – тихо и как-то обречённо откликнулся Саша Кушнер, глядя на бесконечную вереницу фонарей пустого Кировского проспекта. – Ну, как вам Долинин?

Но тут слева сверху, на самом горбу Кировского моста, появились цветные огоньки трамвая и, не слушая уже наши ответы, торопясь закончил:

– Ой! Я побежал...

Нам надо было в другую сторону, но проспект был пуст и слеп от снега. Мы пошли пешком через мост...

Пришёл домой я уже совсем промёрзший. Мама, открыв дверь, спросила:

– Что так поздно?

– Саша Кушнер позвал – на филфаке лекция интересная была. Профессор Долинин читал. Очень интересно, но затянулась...

– Долинин?! – оживилась мама. – А ты помнишь Детскую соматическую на Волковом?

...Ничего нет, всё бело... Я не закутан и не привязан... Я лежу на спине, и мне тепло. Скосив глаза влево, я вижу верх большого окна, за которым небо ещё белее, чем потолок в комнате.

– Проснулся, Илёша? – это Володин голос. Я поворачиваю голову набок. Он лежит на соседней кровати, слева. А прямо за ним огромное окно и белое небо.

– А где мама?

– Она только что заходила. Скоро придёт. Ты со вчерашнего дня всё спишь и спишь...

– Мы уж думали, что ты умер, – это голос справа. Я поворачиваю голову на голос. Там мальчик лежит. Он старше меня и даже Володи. Безразлично смотрит в потолок. За ним закрытая белая дверь.

– Ты вчера и обед, и ужин проспал. Есть хочешь?

– Не знаю.

– А у меня хлеб есть, – он показывает мне какой-то чёрный кусочек. – Володя, хочешь? – обращается он к брату.

– Нет, это мыло. Ты мне уже вчера показывал.

– Нет, нет, правда хлеб, – и он подносит его ко рту и делает вид, что жуёт, потом протягивает его мне. Я вытаскиваю руку из под одеяла и беру маленький, скользкий кусочек.

– Не ешь, Илёша, это мыло, – говорит Володя. Я слышу, кручу кусочек в пальцах, потом засовываю его в рот. Во рту становится горько, я захлёбываюсь слюной, изо рта идёт пена. Меня начинает рвать. Очень больно. Я не могу плакать от боли. Брат только говорит:

– Повернись на живот, повернись на живот...

Открывается дверь. Меня переворачивают, какая-то девочка кричит:

– Тётя Женя! Тётя Женя!..

– Ну что ты? Ну что ты? Ну всё, всё... Ну? Всё прошло? – это уже мамин голос. Внутри ещё больно, но уже не так. Уже не рвёт. Я снова лежу на спине, с лица сползает полотенце, которым обтирали лицо. Мама наклонилась надо мной. Она почему-то в белом халате. Смотрит на меня, потом на соседнюю кровать: – Зачем же, Андрюша, ты ему мыло дал?

С соседней кровати тихо:

– Он же знал, что это мыло, и Володя ему сказал.

– Не надо так, Андрюша.

У двери стоит какая-то девочка. Увидела, что я перестал захлёбываться и кашлять, собралась уходить. Мама окликнула её:

– Наташа, спасибо тебе, как хорошо, что ты оказалась рядом...

Белое окно. У окна на кровати – Володя, потом я, потом у двери – Андрюша. Палата узкая, кровати стоят поперёк изголовьями к стене. С той стороны у стены остаётся только узкий проход. Между кроватями тоже узкие проходы. Зашла мама в белом халате, принесла нам калейдоскоп.

– Ну как вы? Вот, не скучайте, – отдала Володе калейдоскоп и снова ушла.

– Куда мама ушла? – спросил я.

– Мама теперь тут работает, – ответил Володя и стал разглядывать калейдоскоп. Лёжа глядеть в калейдоскоп неудобно, и он сел. Я тоже сел и протянул руку к его кровати, чтобы он и мне дал посмотреть.

– Ляг, тебе нельзя сидеть, – глядя на меня вторым, свободным от калейдоскопа глазом, сказал Володя.

– Почему?

– Мама сказала, что у тебя кишки вываливаются, чтобы я не разрешал тебе сидеть.

Я испуганно лёг, потрогал живот, всё было на месте. Снова протянул руку к Володиной кровати. Он вложил мне в неё калейдоскоп. Я прижал круглую дырочку к глазу, лёг на бок и стал поворачивать картонную трубку. Пёстрые бабочки, цветастые ковры замелькали передо мной. С соседней кровати Андрюша:

– Дай мне.

Я посмотрел на Володю.

– Ну что ж ты, дай.

Я с сожалением протянул ему трубочку. Андрюша начал смотреть в неё.

– Ты сядь, так удобнее, – посоветовал я. Мне хотелось смотреть на него, как он смотрит, а лёжа мне было не видно.

– Я не могу, – отозвался Андрюша.

– У тебя что, тоже кишки вываливаются?

– Ничего не вываливается, просто никак...

Белый потолок, тихо. На соседней кровати сопит Андрюша. Он очень долго смотрит. Я прошу:

– Отдай, – протягиваю руку. Андрюша продолжает сопеть, потом говорит:

– Во! Посмотри, какие конфетки.

Я, не торопясь, поворачиваюсь на другой бок. На кровати рядом с Андрюшей лежит трубочка калейдоскопа, у него на ладони разноцветные стекляшки. Из-за моей спины голос Володи:

– Ты зачем всё сломал?

– А там, видишь, какие конфетки? – он протягивает мне: – На! Конфетки!

Я знаю, что это стекляшки, но беру и засовываю в рот. Володя из-за спины:

– Ты что! Выплюнь! Это же стекляшки!

Я пытаюсь выплюнуть их, но снова начинаю давиться. Володя стучит ложкой по стакану. Заглядывает в дверь Наташа:

– Тётя Женя, тётя Женя, Вера Ивановна, он опять...

... Меня держат за ноги. Я вишу вниз головой, подо мной белый таз, мне засовывают трубку в рот, я давлюсь, пытаюсь орать, не получается, захлёбываюсь водой, Наташа, наклонившись над тазом говорит:

- Вот они, вот они...
- Сколько? Все?

... Проснулся. Темно. Слабый свет только из коридора через открытую дверь. Женщины в халатах что-то делают около Андрюшиной кровати. Вижу, как Володя приподнялся на локте и смотрит на его кровать. Тихий мамин шёпот:

- Спите, спите, ещё рано...

... Светло, приходит Наташа:

- Сейчас мы поедem в другую палату...

Входят какие-то женщины, среди них мама, она наклоняется ко мне:

- Ну как ты?

Нас прямо на кроватях везут к двери. Сначала меня, потом Володю. Андрюши нет, кровати его тоже.

- А Андрюшу уже увезли?

– Да, да, там будет большая палата и много стеклянных стенок, – Наташа поправляет что-то у меня в кровати и переходит к Володиной.

Новая палата очень высокая и вся перегородена прозрачными стенами. Володиной кровать рядом с моей. Входит мама:

- Ну как, вам нравится?

- А там что? – я показываю глазами на соседние стеклянные комнаты.

– Это боксы, в них другие дети, вон там, – мама показывает куда-то в сторону, – там Наташин бокс.

- А где Андрюша? – спрашиваю я, но мама не отвечает, торопится и уходит.

- Андрюша умер, его ночью увезли, – отвечает мне Володя. – Сейчас завтрак привезут.

- Опять миндальный кисель? – спрашиваю я.

- Мама говорит, нам ничего другого нельзя.

- Меня от него рвёт.

- Это не от него, это вообще. Будешь есть кисель – всё пройдёт.

Я молчу, смотрю вверх вдоль высокой стены над головой. Там, наверху, под потолком маленькое тёмное окошко. Володя смотрит туда же:

- Знаешь, что там за окошко?

- Нет.

- Мама говорит, там комната, в ней папа до войны работал...

... Папа несёт меня на одной руке, за другую держится Володя. Папа только что забрал нас – меня из ясель, а Володю из очага. Очаг находился в соседней с яслями комнате в одном и том же доме на Петра Лаврова. Мы идём домой, переходим Литейный и сворачиваем в сторону Моховой. Володя жалуется папе:

- Он опять орал полдня, после того как ты ушёл.

Папа прижимает меня к себе:

- Ну что же ты, Илёша? Ты же обещал.

За спиной грохочет трамвай, я прикасаюсь лицом к папиной колючей щеке и прошу его:

- Погуди, как пароход.

Папа улыбается, прижимает ладонь к губам и гудит долгим затихающим гудком и потом ещё два раза коротко и как будто издалека.

– А мы поедем на поезде?

– Нет, на поезде не поедем, но скоро поедем на дачу в Старожиловку на машине, это совсем не далеко...

...Папа ведёт меня умываться перед сном. Мне очень нравится, когда папа ведёт меня умываться перед сном. Мы проходим через тёмный коридор нашей квартиры, папа держит меня за руку, выходим в переднюю. Из под двери соседки Анны Давыдовны видна узкая полоска света. Папа говорит мне шёпотом:

– Не шуми!

Я не шумлю, мы сворачиваем на кухню. Окно кухни выходит на задний двор и светится серым цветом вечерних сумерек. В кухне светлее, чем у нас в комнате, потому что окно нашей комнаты смотрит прямо в глухую стену соседнего дома и неба из него не видно, а окно кухни выходит на задний двор и из него видно немного неба. Папа не зажигает свет, подходит к чёрной чугунной раковине и приоткрывает блестящий в полутьме медный кран. Вода тонкой струйкой, с каким-то бормотанием и шипением вытекает и плещется в раковину. Папа ставит одну ногу на что-то под раковиной и сажает меня себе на одно колено. Я протягиваю обе руки под струйку воды:

– Тихо, тихо. Не плечи на пол, – смачивает под струйкой воды свою огромную ладонь и закрывает ею всё моё лицо. Вода холодная, кран булькает и шипит, я смеюсь и верчу внутри папиной ладони головой:

– Не шали, не шали! Наплещешь!

Он ставит меня на пол, обтирает мне лицо и ведёт к окну. Окно снизу закрыто ящиком, который нависает прямо на улицу и торчит над таким же кухонным ящиком второго этажа и под таким же ящиком четвёртого этажа. В него мама и Анна Давыдовна ставят кастрюльки с едой. Папа подсаживает меня на подоконник, и тогда я вижу сквозь верхнюю половину окна стену дома на той стороне двора и потемневшее небо над ней, на котором уже видны звёзды.

– Ну, где полярная звезда? Нашёл?

– Ага! – киваю я. Из открытого окна тянет свежестью, доносятся гудки поездов и низкие гудки буксиров с Невы...

Я вхожу в нашу узкую маленькую комнату. Папа, как всегда, сидит за столом, который стоит у окна, занимая по ширине всю комнату. Он оборачивается, услышав, что я открыл дверь. Улыбается:

– А, Илёша! Что так поздно?

– Слушал лекцию Долинина.

Лицо у папы светлеет, он хочет что-то сказать, но входит мама с тарелкой ужина для меня и с порога, как бы продолжая начатый ещё в прихожей разговор, спрашивает:

– Так ты что, правда помнишь Наташу из детской соматической?

– Да, я помню, как она вместе с какой-то медсестрой повела нас, нескольких детей из палаты, на прогулку, но началась бомбёжка и мы побежали назад. Медсестра впереди, а Наташа бежала сзади и всех подгоняла. Я оглянулся, чтобы позвать её – у меня шнурок развязался, но в это время вдалеке за её спиной на месте большого какого-то, как дом, круглого бака появился огромный огненный шар, но звуков я не помню, как в немом кино. Нам навстречу бежала ты, – я посмотрел на маму, – и ещё какие-то женщины в белых халатах...

– Сзади, Вера Ивановна бежала, – сказала мама. – Я помню, как она ворвалась в сестринскую с криком: «Налёт! Бомбят нефтехранилище! Там Наташа!.. С детьми гуляет...»

Я ем ужин, мутные воспоминания проплывают под неторопливый мамин голос, которая сидит рядом и смотрит, как я ем...

...Осень наступила как-то сразу, стало холодно, в нашей узкой длинной комнате с окном на север и с видом на противоположную стену даже днём стало совсем темно. Мама аккуратно выгребает горячие угли и золу в ведро из только что протопленной нашей круглой, почти до потолка, покрытой рифлёным железом печки. В её узкую открытую дверцу ставит железную формочку с тестом из кофейной гущи. Мы, все трое – мама, Володя и я, – полны ожиданием. Сегодня наконец-то придёт папа! Его отпустили ненадолго. Долгожданные два звонка в дверь. Это значит – к нам, это папа. Мы с Володей выбегаем в коридор, мама идёт открывать. В прихожей приоткрывается дверь соседки Анны Давыдовны. Она высовывается в щель и почему-то шёпотом спрашивает:

– Это Лёня, наверно?

– Да, да, наверно – отвечает мама и открывает дверь. Там в серой шинели стоит, улыбаясь, папа. Входит и одной рукой обнимает маму, а в другой у него какой-то мешок. Мы с братом повисаем у него ногах, шинель колется, я задеваю его мешок, в нем что-то твёрдое.

– Осторожно! Осторожно! Не разбей! Илёша, ты не ушибся?

– Нет, а что там?

– Там банка с супом. Мне перед уходом старшина дал, сказал, чтоб я вам отнёс.

Мама забирает мешок и уносит в комнату. Папа снимает шинель, идёт на кухню, моет руки, и мы все по коридору друг за другом тоже идём в комнату.

Мама радостно хлопчет:

– Ну раз такой праздник, будем по-настоящему обедать.

Банка уже вынута из мешка и стоит посередине стола. Стол стоит у стены, иначе не пройти по комнате. Папа садится на своё обычное место спиной к окну у короткой стороны стола, мы с братом на табуретках у длинной, спинами к тахте, а мама напротив папы спиной к печке. Она уже успела накрыть на стол: перед каждым по глубокой тарелке, которая стоит в мелкой, справа – ложка и нож, слева – вилка. Папа смеётся:

– Ну, наверное, вилки и ножи не пригодятся.

– Ничего, – отвечает мама, – пусть привыкают, обед должен быть по правилам, – она показывает глазами папе на нас.

Папа улыбается. Мы замороженно смотрим на банку со светло-жёлтой жидкостью и мутным осадком на дне. Мама трогает банку, муть на дне поднимается облачком, всплывают несколько каких-то темных горошин, которые, описав небольшую дугу, снова ложатся на дно.

– А что это там? – спрашивает Володя.

– Это немного самого супа со дна котла попало, вон даже несколько чечевичин плавает, – отвечает папа. Мама переливает суп из банки в кастрюльку.

– Я подогрею его, печка ещё теплая, – она открывает дверцу печки, вынимает формочку с пирогом из кофейной гущи и вскрикивает: – Ой! Да что же это?! – мама растерянно смотрит в формочку, в которой пирог. Он весь серый от золы, насыпавшейся сверху из трубы.

– Ничего, ничего, – успокаивает папа. – Пока греется суп, мы всё очистим. Это из чего же пирог?

– Из кофейной гущи. Хорошо что я её не выбрасывала...

– Ты доедай, Илёша, я сейчас чай принесу, – говорит мама и продолжает что-то рассказывать о детской соматической больнице...

В комнате полутёмно, чтобы не мешать Маше, которая уже спит за зеркальным шкафом. Шкаф стоит посередине комнаты, зеркалом повёрнутый к окну, чтобы в дневное время отражать свет от окна. Между узкой его стороной и стеной комнаты – узкая и маленькая кровать

Маши, а за глухой задней стенкой шкафа – тахта моя и брата, но брат уже полгода в армии, так что я блаженствую и сплю один на полуторной тахте...

Мама продолжает что-то вспоминать про Наташу, про какого-то Колю, которого я совершенно не запомнил. Папа поворачивается спиной к письменному столу, включается в разговор:

– Вера Ивановна Долинина была начмедом в детской соматической – жена того самого профессора Долинина, лекцию которого ты сегодня слушал, а сам Долинин преподавал у нас в Институте истории искусств, пока институт не закрыли, а Наташа – дочка другого нашего профессора, Гуковского. Он погиб на допросе лет пять назад, – папа замолчал, он слышал мамин рассказ, наверное, уже не в первый раз, и снова повернулся к своему столу. Мама посмотрела ему в спину и закончила как-то уже без интереса.

– Наташа позже вышла замуж за сына Долинина и Веры Ивановны – Колю, он тоже там был в больнице. Но потом Наташа и Коля разошлись.

– Долинина?! – переспросил я. – Наталья Долинина? Та самая, которая пишет книги, преподаёт литературу? Так это – Наташа? Она после той бомбёжки научила меня правильно завязывать шнурки, чтобы не развязывались.

Папа отодвинул кресло от стола, встал:

– Пора спать, уже поздно. Машу разбудим, – папа выглядел несколько недовольным. Мой поздний приход и разговоры нарушили его план, и он, отвлекшись, не успел сделать то, что намечал на вечер.

Я пошёл на кухню. Не зажигая света, прошёл через тёмный коридор и прихожую. Под дверью Анны Давыдовны светилась полоска света. На кухне верхняя половина окна едва брезжила отражённым от облаков рассеянным светом. Нижняя была заслонена большим продуктовым ящиком, использовавшимся в качестве холодильника и нависающим над задним двором дома. В верхнюю половинку окна я увидел, что снег уже перестал идти, ветер частично разогнал тучи. В просветах появлялись звёзды. За спиной послышался голос папы:

– Ну что, нашёл Полярную звезду?

– Нашёл. Вон она в разрывах облаков. Видишь, ветер переменялся на северный. Завтра будет ясная погода. Циклон прошёл. Нам про это профессор Крат рассказывал на лекциях по астрономии. Он старый и совсем близорукий. В Пулково работает, заведует лабораторией Солнца...

Папа подошёл сзади, обнял меня за плечи.

– Илёша... – прижался ко мне щекой и почему-то шёпотом спросил: – А помнишь, как мы ходили с тобой мыть руки перед сном в сорок первом, перед войной?

– Да – так же шёпотом ответил я...

3

Нет, совершенно произвольно когда пытаешься вспоминать что-либо, то никак не удержишься от того, чтобы заодно не «вспомнить» то, чего с тобой не было. Вот сейчас перечитал первые страницы и наткнулся на описание того, как мы возвращались на Моховую после неудачной эвакуации. Там я написал, как мы стояли на углу Пестеля и Моховой, как по Пестеля грохотали танки, а из репродуктора гремел марш. И ещё там было написано (я это все-таки удалил), что это был марш «Прощание славянки». Гремел ли марш, я не помню, может быть, и правда гремел. Но что это не был марш «Прощание славянки» – это точно. Подсознательно хотелось, чтобы было красиво, трогательно, как в кино. Но марш «Прощание славянки» впервые был окончательно реабилитирован после фильма «Летят журавли» Калатозова в 57-м. Там действительно солдаты уходят на фронт под пронзительные звуки марша «Прощание славянки». Но это – в кино! А вообще-то марш этот считался «типичным дореволюционным», его очень любили в войсках Колчака и в Добровольческой армии. Но в памяти всё соединяется. И реальные события, и те, что случились потом, так сказать, подмонтировались (если уж говорить в терминах кино), а вот как мама больно прижала мою руку к ручке чемодана – помню, как сейчас...

...Я совершенно не помню, как мы с Володей и с мамой исчезли (ушли, уехали) из Детской соматической. Я просто помню, что было тепло и светло. Я и Володя снова держимся за мамины руки, в которых у неё ещё чемодан и какой-то (или какие-то) узел, а через плечо всё та же полевая сумка с документами. Мы поднимаемся по узким качающимся мосточкам на стоящий у берега чёрный буксир. Сзади буксира стоит на длинном тросе такая же чёрная большая баржа. В нее тоже, но уже по двум мосткам, поднимаются тёмные вереницы людей. Военные, которые стоят у мостков, покрикивают на них, торопят. Мы с мамой поднимаемся на палубу, впереди открытый большой чёрный люк в который в который спускаются люди. Мама отдавливает нас с Володей в сторону от всех идущих. Мы подходим к смотанному в кольца толстому канату, лежащему на палубе почти у самых перил, она сажает нас на него, кладёт рядом узел и чемодан, садится сама. К нам подходит человек в морской форме, его полосатый воротник и ленточки на бескозырке треплются по ветру:

– Прошли бы лучше в трюм. Здесь будет очень ветрено, мы пойдём ночью – станет холодно.

– Нет, нет, – отвечает мама, – меня и мальчиков очень укачивает в закрытом помещении. Они ещё очень слабые, – она прижимает нас к себе, – разрешите, мы тут посидим, я их укрою, – она смотрела на него снизу вверх, взгляд у неё был, как тогда в Старожиловке, когда она говорила папе и Коляне, что началась война, как тогда, когда отвечала дяде Фёдору из вагонной двери и на углу Пестеля и Моховой, когда она держала нас за руки, а мимо шли танки...

...Да, я вспомнил, я видел этот взгляд. Это было потом в Тихвине. Воинскую часть, в которой служил папа и работала мама, перевели из Архангельска в Тихвин. Там было тихо и тепло и даже деревянных тротуаров, как в Архангельске, не было. Я ходил по какой-то поляне, наверное, около нашего барака и вдруг наткнулся, почти наступил, на птицу, которая, распластав крылья, сидела на земле. Я присел, чтобы получше рассмотреть её и протянул руку, чтобы потрогать, но не дотронулся. Птица сидела, прикрыв собой какие-то голубоватые в крапинку яйца, одно из них чуть высывалось у неё из под перьев. Она смотрела на меня круглыми черными глазами и не улетала. Её взгляд не двигался, глаза не моргали, они смотрели в меня... Это были те самые, мамины глаза...

– Ну смотрите, ведь простудитесь, – помолчав, ответил моряк и ушёл.

- Мама ещё крепче обнимает нас с Володей за плечи, прижимая к себе. Я спрашиваю:
- А что такое – укачивает?
 - Ничего, ничего. Здесь все равно лучше, если что...

...Мама и после войны страшно боялась толпы и замкнутого пространства, наверное, от неё это передалось и мне. Я смутно помню, как, вскоре после того как мы вернулись после неудачной эвакуации и жили на Моховой, в очередной раз завывала сирена, мы заторопились в бомбоубежище, которое было в другом флигеле нашего дома. Там было даже два бомбоубежища – во флигелях по обе стороны подворотни, но одно было ещё не достроено и все набились в одно. Когда мы спустились по лестнице из нашей квартиры, я увидел дочку нашей соседки Анны Давыдовны – Бриану. Она уже была большая – школьница и, глядя на нас, держащихся за мамины руки, сказала голосом воспитательницы из ясель:

- Быстро, быстро в бомбоубежище!

Я смотрел на неё и завидовал. Перед ней на каких-то ножках стоял ящик с ручкой, которую она крутила, а из ящика оглушительно гремел пронзительный звук сирены.

Мы с мамой пересекли передний двор и вошли в бомбоубежище. Там уже было полно народу. Под сводчатыми потолками сидели вдоль стен и стояли посередине люди. Мама пристроила нас где-то у стены и, сказав, чтобы мы сидели смирно, снова пошла к выходу, на ходу доставая пачку папирос и путаясь в ремне от полевой сумки, висящей у неё через плечо. Со двора доносился вой сирены, а издали всё громче и громче был слышен неровный звук моторов самолётов.

– А вот и наши истребители, – стянув платок с головы и прислушиваясь, сказала сидящая рядом соседка. Сквозь пульсирующий, рыдающий гул немецких самолётов послышался другой, ровный нарастающий звук. Под низкими сводами бомбоубежища молчащие прислушивались к звукам с улицы. Соседке разговаривать было не с кем, и она обращалась к нам с Володей:

- Во! Воздушный бой прямо над нами!

Мне очень хотелось посмотреть, но Володя крепко держал меня за руку.

С улицы доносились приглушённые звуки самолётных моторов, они слышны были то далеко, то совсем близко и потом совсем рядом – громкий треск и глухой удар. Сильно вздрогнул пол в бомбоубежище, снаружи послышался звон стёкол. Все закричали и толпой кинулись к небольшой лесенке, ведущей к железной двери, во двор. Сразу образовалась пробка, кто-то упал. Володя ещё крепче сжал мою руку.

Дверь рывком открылась. На верхней ступеньке лесенки стояла наша мама. Её пальто пересекал ремень от полевой сумки, в руке была недокуренная папироса:

– Назад! Всем стоять! – её голос был страшным, я никогда не слышал, чтобы мама так говорила – По местам! – и потом незнакомым звенящим голосом: – Все организовано выходим из бомбоубежища, без давки, не торопясь! В наш дом, в соседний флигель, попала бомба, – все опять завопили. – Тихо! Бомба не взорвалась, она замедленного действия. Быстро, без паники выходим и покидаем дом, – сквозь затихшую толпу она протиснулась к нам. Сказала совсем по-другому, домашним голосом: – Молодцы! Молодцы! Вы хорошо себя вели, – обняв Володю, крепко вцепившегося в мою руку, добавила: – Ты молодец, Володюшка, не отпустил Илёшу, не потерял его.

Мы вышли во двор. Проезд на задний двор был освещён багровым мерцающим светом. Володя спросил:

- Что там?

– Дровяные сараи горят на заднем дворе, – ответила мама, – немцы сбросили на них несколько ящиков зажигалок.

Мы направились к подворотне. Та часть дома, в которой было недостроенное бомбоубежище, была совсем тёмная. Окна были без стёкол. Мы прошли через подворотню, вышли на Моховую.

– А мы домой не пойдём? – спросил Володя.

– Нет, нет. Мы сразу к тёте Оле к Мальцевскому, на Лиговку. Домой нельзя, бомба в любой момент может взорваться...

Мы шли по совершенно тёмному городу. Сирены уже не были слышны. Громко и размеренно стучал метроном. Под ногами вдоль Литейного и Кирочной сплошным слоем лежали битые стекла. На следующий день, когда мы с мамой вернулись с Лиговки на Моховую, половины нашего пятиэтажного дома, той части, что выходила на улицу слева от подворотни, – не было. Бомба взорвалась позже, когда приехали сапёры. Двое, как рассказала позже Анна Давыдовна, совсем молоденьких солдат вошли во флигель, через несколько минут раздался взрыв. Тех двух солдат даже не нашли. Все пять этажей и стена, выходящая во двор, превратились в битый кирпич, огромная куча которого, занимала более половины переднего двора. Из неё торчали перегнутые и завязанные узлами железные кровати и поломанная какая-то мебель. Со стороны улицы стена этой части дома устояла и смотрела на Моховую пустыми квадратами окон. Наш флигель и окна нашей квартиры, оказались нетронутыми, и все стёкла были целы. Мы увидели их ещё снизу, когда вошли в проезд, ведущий во второй двор, в котором ещё дымились сгоревшие ночью дровяные сараи. Где-то среди этой горы дымящихся балок и кирпичных холмов был и сарай наш и наших соседей. Все дрова сгорели. Мы вернулись домой.

Много, много позже, уже будучи совсем взрослым, случайно в книжке Дмитриевского об истории ТЮЗа я наткнулся на несколько строчек о той ночной бомбёжке 6 ноября 1941 года: *«Три последние бомбы сразу не взорвались. Через некоторое время прибыли подрывники в дом 32. Они отправились разряжать бомбу. Взрыв! От дома остался один скелет...»* Всё так и было, только автор ошибся. Это был не 32-й дом, а наш – 30-й, тот его флигель, который вплотную примыкал к тридцать второму дому.

...Ничего не запомнил – ни как мы отплыли, ни когда наступила ночь. Проснулся я от какого-то сильного звука, толчка и довольно холодного дождя. Около нас стоял тот же самый моряк:

– ...совсем близко! Сейчас наберём ход и уйдём из зоны. Хорошо, что дождь – самолёты не летают.

Буксир резко дёрнуло назад. В полумгле белой ночи видны были длинный, натянувшийся от рывка буксира трос и тёмная громада баржи. Опять послышался, но уже слабее, тот же, разбудивший меня визжащий звук. Я прижался к маме – это был дальний звук летящего снаряда.

– Всё, всё, не бойтесь, это теперь уже далеко...

Вдали раздался взрыв, поднимались и опускались волны, буксир и баржа на длинном тросе раскачивались, приближаясь и удаляясь, друг от друга. Буксир набирал ход.

...Мама трясла нас, чтобы мы скорее проснулись:

– Ну давайте, давайте, мальчики, просыпайтесь, надо слезать, это – Кобона, всё, приплыли, дальше – на поезде, больше бомбёжек и обстрелов не будет – чемодан и мешок были у неё уже в руках, сумка висела через плечо.

Опять те же самые качающиеся мостки. Мы спускаемся на твёрдую землю. Стоящий внизу военный рассматривает бумаги, которые она вынула из своей полевой сумки. Военный показывает куда-то рукой:

– Вот там эвакуопункт.

– Спасибо.

Мама поднимает чемодан и узел, берет Володину руку, Володя берет за руку меня. Мы идём к какому-то барраку, подходим к окошку в стене. Там, в окошке, видна женщина, похожая

на врача или медсестру – она в белом халате. Мама показывает ей бумаги, которые только что показывала военному около буксира.

– Вас трое? – спрашивает женщина в окошке и, не дожидаясь ответа, что-то ставит перед мамой. Мне снизу не видно.

– Это всё нам?! – спрашивает мама.

– Ну да. Вас же трое. А это сухой паёк. Потом вас только в поезде при первой остановке будут кормить.

– Ой, сейчас, – говорит мама в окошко. Она берёт меня и Володю за руки, отводит нас и оттаскивает все наши вещи к длинному столу, за которым сидят уже люди, сажает нас там и возвращается к окошку за мисками и сухим пайком.

Миски почти доверху наполнены манной кашей, поверх неё просто жёлтое озеро растаившего масла, а рядом огромные куски хлеба.

– Подождите! – говорит мама. – Не ешьте, у вас животы заболят.

– Почему? – спрашивает Володя. Я сижу и не могу оторвать взгляд от каши и хлеба. Рот у меня заполняется слюной.

– Потому что у вас дистрофия в тяжёлой форме, – отвечает мама голосом Веры Ивановны из детской соматической.

Мама убирает в свёрток сухой паёк и два куска хлеба, последний разламывает на три части, раздаёт нам и один кладёт перед собой. Потом из узла вытаскивает судок, открывает какую-то плотную крышку, а из него вытаскивает другой, тоже с крышкой, открывает его и перекладывает туда кашу с маслом из двух мисок и сливает растопленное масло из третьей. Плотно закрывает судок, прячет его в большой и все это засовывает в узел. Оставшуюся в миске кашу раскладывает себе и нам по мискам...

...Мы – в поезде. Я, Володя и мама едем на нарах на втором этаже. Всё забито людьми, чемоданами и узлами. У нас уголок уютный. Немного наискосок видна открытая дверь. В проёме сидят женщины, свесив ноги. На полу места нет, всё занято сидящими и лежащими людьми. Поезд останавливается и долго стоит. Мама вытаскивает из узла большой пустой судок, спускается вниз:

– Мальчики, ни в коем случае не слезайте, сидите здесь, около вещей, говорите, что тут занято, я быстренько, только за кипятком сбегаю, – и какой-то женщине на нижних нарах: – Посмотрите, пожалуйста, за мальчиками, я быстро, – пробирается к двери, спрыгивает на насыпь, видна только её голова, вернее, только чёрные вьющиеся волосы. Видно, как она машет нам рукой и исчезает.

Мы смотрим в светлый, освещённый солнцем пролёт двери. Какие-то люди то выпрыгивают наружу из вагона, то снова залезают обратно. Где-то далеко слышен гудок паровоза, совсем как у нас на кухне до войны у открытого окна, когда мы с папой ходили мыть перед сном руки. Слышно, как сначала далеко, потом всё ближе и ближе звенят, ударяясь друг о друга, буфера вагонов. Вагон дёргается и звон ударяющихся буферов затихает в конце поезда. Кто-то кричит:

– Паровоз прицепили, сейчас поедem, залезайте!

Люди полезли в вагон, толкаясь, подсаживая и отталкивая друг друга. Володя и я, вытянув шеи, всматриваемся в проём двери. Мамы там нет. Опять издали слышался перезвон буферов. Всё громче, громче, вагон дёрнулся. Засуетились, заторопились люди у двери. Медленно, медленно, почти незаметно поплыл назад вагон стоящего напротив поезда. Негромко, как бы нерешительно, стукнули колёса под полом, потом ещё и ещё. Какие-то тётки сели на полу у двери, свесив ноги на улицу, и тут мы увидели бегущую маму, вернее, не её саму, а только вьющиеся волосы, её поднятое к вагону лицо и протянутые руки, в одной из которых был закрытый плотно судок. Она бежала по насыпи, у самой двери, а тётки, сидящие на полу вагона, что-то кричали и отталкивали её ногами:

– Некуда, некуда! Полный уже вагон, некуда сюда, – и тут, я помню, заорал, как когда-то в яслях, когда уходил папа. Я орал, а голос куда-то уходил – у меня кончались силы, но тут мой крик подхватил Володя. Над нами и под нами на нарах закричали тётки:

– Да у неё тут дети! Она из нашего вагона! – там, у двери, услышали крики и наши с Володей вопли, протянули маме руки, втащили её в вагон...

Под полом мерно постукивали колеса всё быстрее и быстрее. Мама наконец, перелезая через узлы и людей, добралась до наших нар. Мы уже не орал, мы видели её, видели, что с ней всё в порядке – в руках у неё был закрытый судок, а через плечо висела полевая сумка. Мама прижалась к нам. Она вся дрожала. Что-то говорила, что-то шептала:

– Всё, всё хорошо, теперь уже скоро приедем... Поедем по большой реке на пароходе, ну всё, всё, – она гладила наши лица, головы, что-то всё говорила, говорила...

4

Начиналась весна, но для меня она начиналась безрадостно. Наверное, от перегрузки на работе, от домашних забот, от общего весеннего авитаминоза я как-то разладился. На шее, точнее, снизу на челюсти у меня вспухла болезненная шишка, которая краснела, росла и всё сильнее болела. Перед уходом с работы я позвонил папе, так как в Стрельне, где мы теперь жили с Эммой и детьми, дома у нас не было телефона, а из автомата звонить очень не хотелось. На его вопрос: «Как дела, как здоровье?» – пожаловался на шишку, рассказал, что ходил в университетскую поликлинику, там прописали компрессы, но от них не стало лучше. Папа забеспокоился и посоветовал обратиться к дяде Диме:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.